МИРОВАЯ КЛАССИКА

Ю. НАГИБИН

По пути в бессмертие

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«…Непросто все с Лесковым, не знаешь даже, с какой стороны подступиться к этому уникальному в своей противоречивости и неохватности явлению великой русской литературы. Столько всего в нем сплелось, скрутилось, смешалось, казалось бы, вовсе несоединимого в одной личности…»

- Юрий Нагибин
  - ○
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6

Юрий Нагибин
О Лескове

Давно и преданно любя Лескова, ревнуя к славе тех, кто больше его признан и читаем, я силился понять меру и характер известности этого удивительного, ни с кем не сравнимого русского писателя. Лесков?.. Ну как же, кто не знает Лескова! Но копни чуть глубже, и ты убедишься, что на слуху у людей или просто имя классика — не из первых — русской литературы, или три-четыре его произведения: «Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда», «Левша», иногда этот список обогащается «Тупейным художником» или «Железной волей». Но «Очарованного странника» знают больше по театру «Ромэн», где инсценировка И. Штока около четырех десятков лет не сходит с подмостков, «Леди Макбет Мценского уезда» — по знаменитой опере Дмитрия Шостаковича «Катерина Измайлова», запечатленной и на кинопленке, сказ о Левше — опять же по сценическим воплощениям и прелестному мультфильму, а «Железную волю» и «Тупейного художника» часто читают по радио.

Конечно, среди отечественных книгочеев найдутся и такие, что читали и перечитывали с наслаждением как названные вещи, так и другие шедевры Лескова, скажем, «Соборян», «Захудалый род», «Совместителей», «На краю света», «Воительницу», «Несмертельного Голована», «Человека на часах», «Мелочи архиерейской жизни». Но это народ особый — любители и знатоки литературы, а я имею в виду рядовых квалифицированных читателей. Для них названия многих произведений Лескова — звук пустой. И в библиотеках мне говорили с грустью, что спрос на Лескова совсем не велик и лишь немногим превышает спрос — на почти — и несправедливо — забытых Григоровича, Писемского, Глеба Успенского, Эртеля.

О великая, изобильная, неприметливая и расточительная от богатств своих безмерных Русь! Ведь каждый из названных писателей в литературе любой другой страны явился бы предметом поклонения, всенародного культа. И дом, где он увидел свет, и любое приютившее его жилье, и школа, где он учился, стали бы местом паломничества, а у подножия памятника, возведенного благодарным потомством, не переводились бы свежие цветы и венки из бессмертников[1].

Но «наплевать на бронзы многопудья», лучший памятник писателю — его творения. И тут с Николаем Семеновичем

Лесковым дело обстоит весьма непростое. Предположим, что какой-нибудь любознательный и доверчивый читатель, поверив моим заклятиям, кинется в библиотеку и возьмет, скажем, «Запечатленного ангела», или «Левшу», или «Очарованного странника» — шедевры зрелого Лескова. Я вовсе не убежден, что он дочитает эти небольшие вещи до конца. Его может отпугнуть и непривычная, вычурная форма сказа, — русский классический рассказ тяготеет к объективному способу изображения, — и цветистая странность речевой манеры, обилие незнакомых, порой непонятных словечек, то ли истинно народных, то ли, что куда вероятнее, придуманных игристым воображением автора (Лесков и в самом деле был неутомимым изобретателем слов, зачастую пародирующих народное словотворчество, что одновременно восхищало и раздражало таких его современников, как Достоевский и Лев Толстой). Непривычно, трудно читать, спотыкаешься чуть ли не на каждой фразе, то и дело в комментарии заглядываешь, а ведь жизнь так коротка, и до чего же обильную информацию можно получить за время, потраченное на лесковский рассказ, с голубого экрана телевизора! Да, все это, несомненно, так, но если читатель сумеет побороть внутреннюю суету, сосредоточиться в душевной тишине и по глотку осушить пряный кубок лесковской прозы, он откроет для себя целый мир невиданной красоты, неповторимых образов, сверкающей фантазии, расписной, причудливый мир, где русский дух, безмерный и в радости, и в печали, где Русью пахнет — и сладко, и горько, и нежно, и дымно, так крепко, забористо пахнет, как ни у одного другого писателя нашей земли, разве что у мятежного протопопа Аввакума.

Да, непросто все с Лесковым, не знаешь даже, с какой стороны подступиться к этому уникальному в своей противоречивости и неохватности явлению великой русской литературы. Столько всего в нем сплелось, скрутилось, смешалось, казалось бы, вовсе несоединимого в одной личности. Столько загадок назагадал о себе этот реакционер, нарисовавший нежнейший образ гарибальдийца Артура Бенни, ненавистника нигилизма, создавший Лизу Бахареву, Помаду и Ванскок и боровшийся, по его собственным словам, лишь с теми, кто принизил чистый тип Базарова, этот певец божедомов, апологет русского православия, издевавшийся над официальной церковью и ее архиереями, последователь Льва Толстого, высмеявший и толстовцев и толстовство, этот пловец, умевший плыть только против течения, не поладивший ни с кем из современников и никем не понятый до конца, этот насмешник и зловредник, постигший, как никто другой, духовную силу и красоту русского

человека, за что и был вознесен посмертно другим великим народолюбом — Горьким…

На известном портрете В. Серова Лесков стар, желт, изможден, болен. Только в темных, ночных глазах — «по зигзице в зенице» — мечут молнии из все еще раскаленных недр грозные очи крутохвата-буреносца. Он тяжело умирал — с дикими болями в сердце, с мучительными удушьями, но перед исходом закончил «Заячий ремиз», комическую и горестную историю Ономрия Перегуда из Перегудова, заурядного обывателя, загнанного неотвязным страхом перед российской действительностью в желтый дом, где он, защищенный тихим безумием, толстыми стенами и решетками на окнах, умиротворенно вяжет шерстяные чулки для своих братьев-умалишенных.

А на фотографиях, обычно сопровождающих издания Лескова с дореволюционных до наших дней, он взят в поре жизненного расцвета: соколья грудь, крутые плечи, тяжелая красивая голова на сильной короткой шее и пламень в темном, опасном, как у васнецовского Ивана IV, взоре. Это сходство с Грозным — не в чертах и уж подавно не в стати, и в выражении — подмечали многие современники Лескова. Он тяжело жил, в вечном противоборстве со всеми и вся: с родными и близкими, даже с собственным прекрасным, умным сыном, с передовыми людьми своего времени и реакционными властями, с Бога не приемлющими и церковниками, с правыми и с левыми, с писателями и критиками, издателями и даже с безмерно любимым Львом Толстым, чью веру исповедовал, а в «Зимнем дне», одним из последних своих рассказов, так ударил по толстовцам и самому учению великого ересиарха, что Софья Андреевна отказала ему от дома.

Поистине нет более сложной и противоречивой фигуры в русской литературе, нежели Николай Семенович Лесков! Когда-то он просто и мудро сказал, что писатель должен «всегда быть около крупных вопросов», и сам неизменно следовал этому правилу. Но оказывается, мало быть около крупных вопросов, чтобы «привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов», заслужить добрую славу у современников и чистую, благодарную память в потомстве, важно еще, с какой стороны ты к этим вопросам подходишь, как берешься за них и как решаешь.

Но прежде о том поистине роковом обстоятельстве, что случилось в пору журналистской молодости Лескова и отбросило черную тень на всю его последующую литературную жизнь, исковеркав образ писателя в глазах современников, особенно же в глазах передовых людей русского общества.

Дело было в 1862 году. Петербургским майским днем

запылали Апраксин и Щукин дворы. Огонь и до того частенько посещал русскую столицу, и в народе забродили темные слушки, что то не Божий гнев или людская неосмотрительность, а сознательный злой умысел шайки поджигателей. О поджигателях толковали разно, но все сильнее овладело смятенными умами гостинодворское мнение, что виной тому студенты, поляки да всякого рода бунтари против законной власти. Есть все основания утверждать, что и сами пожары, и порожденные ими слухи имели один источник — полицию. Это была крепко задуманная и с размахом осуществленная провокация, которой правительство решило ответить на студенческие волнения и знаменитую прокламацию «Молодая Россия», выражающую уверенность, что России вышло на долю первой осуществить великое дело социализма.

Трещало и билось пламя, пожирая лавки со всеми товарами, захватывая соседние дома и строения, жаркие отсветы плясали на искаженных ужасом и злобой лицах обывателей, и вместе с чадным, смрадным дурманом укоренялось в душах услужливо и к месту подсказанное: студенты подожгли, от них вся смута и непорядки на Руси. И горячая от пожарного огня толпа кинулась бить студентов. В этот мрачнейший час русской жизни раздался молодой, но уже самоуверенный басок начинающего — и весьма счастливо — сотрудника «Северной пчелы» Лескова, непредумышленно намекнувшего на связь пожаров с прокламацией.

Кроме того, Лесков в пренеприятнейшей манере сверхлояльного гражданина призывал петербургское начальство, сиречь полицию, к решительным действиям.

Будем справедливы: многие прославленные современники Лескова (Тютчев, Тургенев, Анненков и другие) допускали причастность левых сил к пожарам, но они делились своими тревожными мыслями в письмах, в домашних беседах, понизив голос…

Размашисто подписывая пожарную корреспонденцию, Лесков никак не думал, что ломает хребет своей литературной карьере. И срастется перелом ох как не скоро!

От Лескова отвернулись передовые люди, сам Герцен ударил в колокол…

Трагический пассаж случился с Лесковым не случайно. С молодых лет до седых волос, до самой гробовой доски крутой человек безоглядно спешил предать бумаге, а с тем и широкой гласности любую мелькнувшую у него мысль, любое забравшее его чувство. Я не знаю другого писателя, столь одержимого потребностью мгновенного литературного самовыражения. Но

чтоб до конца понять неизбежность его провала, надо разобраться, из какого материала строилась необыкновенная, во всем чрезмерная личность Николая Семеновича Лескова.

Его породила урожайная на первоклассные таланты орловская земля. Будущий писатель увидел свет в 1831 году, в семье небогатой, незнатной и нечиновной. Две горячие крови слились, чтобы подарить миру это грозное чудо. Отец писателя Семен Дмитриевич, попович, сызмала предназначенный к рясе, как положено в сельском духовенстве, восстал против векового порядка и отказался от духовного сана. За что и был изгнан суровым родителем (тип могучего русского человека, которому не то что развернуться, а повернуться негде.) «без куска хлеба за пазухой халата». Перепробовав ряд служб и в Петербурге, и на Кавказе (здесь он подвизался в управлении питейными сборами), Семен Дмитриевич уволился из казенной палаты, вернулся на родную Орловщину, где вскоре и женился на девице дворянского рода Марии Петровне Алферьевой.

Николай Семенович Лесков, заплативший щедрую дань многим человеческим заблуждениям, был склонен в молодости преувеличивать аристократизм материнского рода, выводя его от знаменитого итальянского драматурга Альфиери. Но, изжив в себе дворянские претензии, как и многое другое, он сам впоследствии смеялся над этой тщеславной выдумкой, доказательно производя фамилию матери от простого русского имени Алфер. И все же не в обычае было, чтобы русская, пусть незнатная, дворянка выходила замуж за человека худородного и бедного. Видать, незаурядной личностью был поповский сын, если гордая и нравная девушка пошла против сословного устава. Мария Петровна и вообще мало походила на обычную уездную девицу, то была натура страстная, глубокая, властолюбивая. Первенец ее унаследовал суровый характер матери, правда расцвеченный живыми красками отцовского начала.

Жили Лесковы без особого достатка, хотя вернувшийся на службу Семен Дмитриевич преуспевал в качестве уголовного следователя Орловской судебной палаты. Недовольный своим положением, он вдруг «забредил полями и огородами, купил хутор и пошел гряды копать». Приобретая сельцо Панино на Кромском тракте, Семен Дмитриевич руководствовался соображениями экономическими, но истинная и великая выгода этого поступка сказалась совсем в ином, что дало себя знать, разумеется, много позже: маленький Лесков попал в гущу народную, и его самые впечатлительные годы прошли в тесном общении с деревенским людом, с теми, кто кормит Русь. Узнал он густой быт и причудливые нравы мелкопоместного и

среднепоместного дворянства. В сельской заброшенности расцветали весьма замысловатые характеры; к чудакам, столь любимым писателем Лесковым, принадлежал и его одаренный, томящийся в глухомани отец. Да, не вышло сельского хозяина из Семена Дмитриевича, к тому же частые неурожаи, падежи, потравы, грозы и прочие стихийные бедствия не давали ему выбиться из нужды.

Он терял жизненную энергию, слабел душой и телом, утешаясь в неудачах переводом римских поэтов, и в 1848 году скончался, так и не получив грамоты о возведении в дворянское звание по заслуженному им ранее чину коллежского асессора — «невздорному», как тогда шутили, чину, дающему потомственное дворянство. Эту грамоту досталось получать уже Лескову-сыну, что он тоже никак не удосуживался сделать, видимо, не слишком ценя свое новоявленное дворянство.

Но все это случилось много позже, а в 1841 году маленького Николая отвезли в орловскую гимназию. Время, проведенное им в Орле, значительно не теми скудными знаниями, какие вдалбливала в головы учеников николаевская гимназия, а запасом новых пестрых жизненных наблюдений. Каким разнообразием типов провинциальной жизни наградил будущего писателя Орел! Младой Лесков, конечно, еще не ведал своей сути, но его великолепный воспринимающий аппарат бессознательно работал на будущего художника, засыпая кладовую памяти множеством наблюдений, колоритными образами губернских насельников: от безумного губернатора князя Трубецкого до наглых орловских подлетов — ночных воров; недаром же говорила пословица, что Орел да Кромы — первые воры. Драгоценной россыпью неповторимых русских характеров наградил Орел Лескова: дворян и мещан, чиновников и священнослужителей, праведников и мошенников, юродивых и хитрецов, буянов и тихих созерцателей, доморощенных талантов и придурков, злодеев и народных печальников. Как цельно, крепко и подробно запомнил их всех Лесков, сам еще не зная, для чего ему эта память, запомнил со всеми их словечками, ухватками, ужимками и вывертами, с их смехом и слезами, радостью и отчаянием, высотой и низостью. Потому и занимают Орел и Орловщина так много места в его творчестве…

Со смертью отца оборвалась гимназическая учеба Лескова, а с ней и вообще «положился предел и правильному продолжению учености, — как писал он впоследствии. — Затем — самоучка».

Около трех лет прослужил он в Орловском уголовном суде, а потом уехал на Украину к дяде по матери, известному киевскому профессору терапии С. П. Алферьеву. О гостеприимстве дяди,

поселившего племянника во флигеле своего поместительного дома, но забывавшего приглашать к обеду, Лесков сохранил благодарное и недоброе воспоминание, зато вся киевская пора жизни светилась в его памяти особым, нежным и радостным, светом. Древняя столица Руси стала его «духовной родиной». Он прикоснулся тут к университетской учености, прослушав, пусть отрывочно, курсы по криминалистике, сельскому хозяйству и русской словесности, свел близкое знакомство в доме дяди со многими талантливыми учеными, сблизился с университетской молодежью, приобщился к древнему русскому искусству в Киево-Печерской лавре и навсегда прикипел сердцем к иконописи, стал вхож в художественные мастерские, овладел украинским и польским, что впоследствии так обогатило цветистую лексику его сказов, а кроме того, просто жил — по-молодому бурно, расточительно, весело, страстно, бился грудь в грудь с саперными юнкерами на Подоле, любил чернобровых малороссиянок, и все это было прекрасно, ибо не дает осенью плодов то дерево, что весной не цвело.

В Киеве же Лесков женился. Семейная жизнь, не одарив радостью, принесла материальную отягощенность, и Лескову пришлось расстаться с удачно начавшейся, но скупой казенной службой и взять место у обрусевшего англичанина Шкотта, мужа его тетки по материнской линии, управляющего громадными имениями Нарышкиных и Перовских в Пензенской губернии.

В жизнь Лескова входил новый пейзаж — Поволжье, новый человеческий типаж, новые, сложные отношения с окружающим. Его деятельность была крайне многообразна и требовала постоянных разъездов по стране — вдоль всей волжской магистрали: от Каспийского моря до Рыбинска и дальше, по Мариинской системе, до Петербурга. Он знакомится с бытом башкир, татар и других народностей, населяющих Поволжье, нередко бывает в Москве, сопровождает баржи с переселенцами, ездит на Нижегородскую ярмарку[2], заставляющую гореть его жадные, пронзительные глаза, трепетать чуткие ноздри, встречается и сходится накоротке со множеством любопытнейших людей из самых разных слоев русского общества. Лесков сам необычайно высоко оценивает тот жизненный запас, каким снабдила его служба у Шкотта: «Мне не приходилось пробиваться сквозь книги и готовые понятия к народу и его быту. Я изучал его на месте. Книги были добрыми мне помощниками, но коренником был я. По этой причине я не пристал ни к одной школе, потому что учился не в школе, а на барках у Шкотта».

Лесков имел полное право на подобное горделивое утверждение, хотя эта рваная жизнь, отсутствие систематического

образования имели свою теневую сторону, не позволив ему выработать четкого мировоззрения, что и сказалось столь болезненно на его литературном начале.

В 1861 году в «Отечественных записках» появилась его публицистика, посвященная «питейным бунтам». Называлась статья весьма сухо: «Очерк винокуренной промышленности (Пензенская губерния)». То не было первой публикацией, еще в киевский период Лесков помещал в местных изданиях заметки и статейки по разным злободневным вопросам, но именно этот серьезный и примечательный опыт Принято считать началом литературной деятельности Николая Семеновича Лескова.

В хорошей книге Леонида Гроссмана о Лескове содержится четкая и емкая характеристика начального, журналистского периода его литературной деятельности: «Лесков искренне увлекся оживлением общественных интересов конца 50-х и начала 60-х годов; он и позже считал это время «теплыми весенними днями людей нашей поры»»[3]. Только с дифференциацией течений и групп, с выступлением деятелей крестьянской демократии, нигилистов, с появлением революционных прокламаций, а затем и с наступлением политических покушений Лесков резко меняет свое отношение к передовой современности. Но пора его литературных дебютов проходила в полном соответствии с общественным оживлением начала 60-х годов, хотя и в строгих границах законности.

В основном направление Лескова можно характеризовать как «легальный» либерализм. Он ратует, в сущности, за проведение в жизнь прокламированной сверху реформы. Никаких уклонов в сторону революционной тактики, никаких отклонений от почтительной лояльности к правительству. Он против «крепостников», но нисколько не за «крестьянские восстания». Он принадлежит к промежуточному слою «благомыслящих людей»[4].

Находясь в этом «промежуточном слое», очень легко оступиться преимущественно вправо. Лескову очень не повезло, что литературным воспреемником его был довольно известный в ту пору публицист С. С. Громека, сочетавший умеренный либерализм с чрезвычайно успешной государственной службой — от жандармского офицера до губернатора. Трудно было начинающему литератору найти худшего наставника, прятавшего за либеральной фразой вполне реакционную суть, сочетавшего сочувствие к крестьянской реформе с зоологической ненавистью к нигилистам. Громека крепко попутал Лескова, и дорого стоило ему преодоление тлетворного влияния либеральничающего жандарма. Но придет время, и он по-лесковски хлестко, смачно и убийственно разочтется с Громекой. Впрочем, до этого времени

еще далеко, а сейчас, исполненный бодрой веры и надежды, он с пером в твердой и не ведающей устали руке завоевывает журнальный Петербург, куда перебрался в январе 1861 года.

Пишет он много и ненасытно, на самые разные темы, отдавая предпочтение экономике, к чему хорошо подготовлен службой контрагентом у Шкотта. Его выступления по вопросам заселения пустопорожних земель и экономически выгодного способа освобождения крестьян привлекают внимание людей серьезных и компетентных. Молодой журналист быстро приобретает имя.

Его статьи, очерки, даже репортерская хроника — он не брезговал и черным хлебом журналистики, — уже несут отпечаток того страстного волевого напора, что отличает все вышедшее из-под раскаленного лесковского пера. Влиятельный критик Апполон Григорьев проницательно усматривает в первых опытах начинающего журналиста незаурядный беллетристический талант. Сильная и колоритная личность Лескова притягивает к нему людей выдающихся, он дружит со старым Тарасом Шевченко, сближается с Артуром Бенни, будущим гарибальдийцем. Горизонт ясен, дали прозрачны, ничто, казалось бы, не предвещает «пожарной» катастрофы 1862 года. Однако она уже неотвратимо заложена в ячейку времени.

Классовая сущность Лескова была весьма расплывчата, он и сам не придавал серьезного значения своему дворянскому происхождению. В детстве он испытал глубокое влияние русского мелкопоместного быта с налетом известной патриархальности и русского православия, позже, в юности, — поверхностное увлечение разночинным свободомыслием. Он мог пойти и в одну и в другую сторону, но, естественно, подчинился более сильной воле, той, что была заинтересована обратить его в свою веру, то есть Громеке, чей опасливый либерализм рассеялся без следа с ростом революционных начал в русском обществе. И когда наставник резко завернул вправо, туда же повело Лескова, воспитанного в косном быте и густой религиозности.

В этот период своей жизни Лесков неотвратимо должен был попасть в душные объятия Каткова. Что и случилось.

Когда немного рассеялся пожарный дым, Лесков понял, что ему уготовано нечто вроде гражданской смерти, и поспешил уехать за границу. «Северная пчела» предоставила своему незадачливому корреспонденту длительную командировку по странам Восточной, Центральной и Западной Европы. Не будем расписывать это путешествие, давшее очень много Лескову в смысле дальнейшего накопления жизненного материала, развития его взглядов на славянство и западный мир, укрепления веры в самобытность и великую созидательную, хоть и таящуюся

под спудом, силу русской народности, скажем лишь, что вдалеке от родины, в Париже, Лесков написал — или закончил — свой первый рассказ, вошедший в золотой фонд его творчества, — «Овцебык». Этот рассказ, в котором уже был весь Лесков, в 1863 году появился в «Отечественных записках». Выйди такой рассказ из-под пера другого молодого автора, он наделал бы шуму в литературе, — уж больно выпирал словесно-образным замесом из привычной русской новеллистики. Но рассказ принадлежал Лескову и встретил ледяной прием. Впрочем, этому способствовала не только дурная репутация автора, но и концовка, где герой рассказа, семинарист-агитатор Овцебык, презревший ризу ради пропаганды народных идей, кончает самоубийством, ибо радикальному реформатору «некуда идти». Тут впервые прозвучало ядовитое словечко, давшее название первому из обличительных романов Лескова. Но до того как появилось «Некуда», Лесков опубликовал горестный крестьянский роман «Житие одной бабы», позже неудачно переименованный — «Амур в лапоточках», и «Леди Макбет Мценского уезда», жемчужину русской рассказовой прозы. И снова народ — литературный — безмолвствовал, один лишь Ф. М. Достоевский, напечатавший рассказ в своем журнале «Эпоха», осмеливался вслух восхищаться этим мастерским и жестоким произведением, исполненным редкостной зловещей красоты. Он был поражен и верностью изображения каторжных типов и сцен — ведь в отличие от автора «Записок из Мертвого дома» Лесков не был на каторге.

Чехов говорил, что писатель должен садиться к рабочему столу с холодным разумом и сердцем. Конечно, он не имел в виду, что художественное произведение рождается из равнодушия, безразличия, что автора не должно трогать происходящее с его героями. Тогда зачем вообще браться за перо? Он подразумевал другое: писатель должен отбросить все эгоистическое, мелкое, не тянуть на бумагу свое раздражение, житейскую неустроенность, обиды, неприятности, несварение желудка, ссору с женой, не сводить личных счетов, не выгадывать чего-либо, кроме самой литературы, надо брать читателя объективной силой и правдой слова, а не провоцировать эмоциональной необузданностью или сплетническими намеками на гнев, ожесточение или хотя бы растроганность. Писатель должен быть чист, бескорыстен, свободен от грубых житейских тяжестей. Вот уж чего вовсе не умел Лесков, особенно в первый период своей литературной деятельности. Он перенес на страницы романа «Некуда» все свои обиды, личные счеты, семейные неурядицы, идейные разногласия; задыхаясь от спешки,

выложил все, что стеснилось в груди. Знакомые узнавали себя на желчью облитых страницах, читатели угадывали за прозрачными псевдонимами известных деятелей, литераторов, в карикатурном смещении — реальные события, происшествия, драмы.

Пренебрегая бурей, поднявшейся вокруг «Некуда», Лесков торопится опубликовать художественно ущербный роман «Обойденные», а затем и вовсе скандальный — «На ножах».

Надо сказать, что даже Достоевский, благоволивший к Лескову, резко отмахнулся от этого романа: «Много вранья, много черт знает чего, точно на луне происходит. Нигилисты искажены до бездельничества». Трудно поверить, но к этому времени уже писались «Чающие движение воды», переименованные потом в «Божедомов» и наконец в «Соборян», под каковым названием они и появились всего через год после «На ножах». И столь же трудно поверить, что много раньше была опубликована смешная и грустная, пряная и задорная, отливающая всеми цветами радуги, истинно лесковская — в нашем нынешнем понимании — бессмертная «Воительница».

Но не следует особо удивляться, что «Воительница» прошла незамеченной, что и великолепные (горьковское слово) «Соборяне» не обезоружили противников Лескова. Он и сам-то еще не знал, что выздоравливает, что пережитый им кризис на исходе, подавно не ведали о том другие, тем более что ненужные вставные образы Варнавки Препотенского, Термосесова и Бизюкиной («Соборяне») являли собой все те же знакомые и докучные карикатуры. Тяжело читать тогдашние отзывы на «Соборян» и другие произведения Лескова, прочно вошедшие в сокровищницу русской и мировой литературы, но нельзя обвинять современников Лескова в слепоте и несправедливости. Легко нам все видеть из отступающей дали лет и благодушествовать на покое. Но в ту пору, когда торжествовала реакция, когда подвергнутый гражданской казни Чернышевский томился в сибирской ссылке, когда казематы Петропавловки уже не вмещали узников и захлебнулось в крови польское восстание, когда лучшие люди настойчиво и мучительно искали новые пути и способы борьбы и разгорался жертвенный пламень в груди самых нетерпеливых и отважных, — писатель, «поигравший» с либеральными идеями и резко отвернувшийся от них, сотрудничающий с ненавистным и презренным Катковым, не мог быть прощен и принят в душу за несколько, пусть и первоклассных, рассказов и высокоталантливый роман, восхваляющий не борцов за идею, а служителей церкви. Вблизи не так-то просто было разглядеть, что протопоп Туберозов — белая ворона среди церковников, недаром же становится он

жертвой консистории, и автор возносит его не во славу, а в укор официальной церкви. Но пожалуй, довольно на тему о непризнании, хотя в течение двадцати (!) лет это было трагедией Лескова, его адом.

Важно, что процесс внутреннего оздоровления, начавшийся в глубине кризиса, с «Соборянами» обрел зримую очевидность. В последующее пятилетие, когда были созданы «Запечатленный ангел», «Очарованный странник», «Железная воля», «Захудалый род», завершился отход Лескова от реакции, он резко порвал с Катковым и мощно двинулся той столбовой дорогой, что привела его к бессмертию.

Так что же спасло Лескова? Позволю себе снова прибегнуть к длинной цитате. Лесков писал о себе: «Я смело, даже, может быть, дерзко думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь, и не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе, на гостомельском выгоне[5], с казанком в руке, я спал с ним на росистой траве ночного, под теплым овчинным тулупом, да на замашной панинской толчее за кругами пыльных замашек, так мне непристойно ни поднимать народ на ходули, ни класть его себе под ноги. Я с народом был свой человек, и у меня есть в нем много кумовьев и приятелей, особенно в Гостомле, где живут бородачи, которых я, стоя на своих детских коленях, в оные былые времена отмаливал своими детскими слезами от палок и розог. Я был этим людям ближе всех поповичей нашей поповки, ловивших у крестьян кур и поросят во время хождения по приходу. Я стоял между мужиком и связанными на него розгами… Я не верю, чтоб попович знал крестьянина короче, чем может его знать сын простого, бедного помещика»[6].

Народным духом, любовью и близостью к народу и был спасен Лесков. Он увидел в русском национальном характере то, что оставалось скрытым от других крупных художников его норы и более поздних лет: одухотворенную красоту, великую телесную и душевную силу, верность нравственному идеалу. От протопопа Туберозова пошла галерея лесковских праведников, включающая и трогательных инженеров-бессребреников, и эпического Несмертельного Голована, и мужика-страстотерпца, по кличке Пугало, и того солдатика, что покинул пост, дабы спасти утопающего, и смешного бедолагу тульского Левшу, который на жалком своем смертном одре помнил лишь о пользе государства и народа русского.

От дьякона Ахилки из тех же «Соборян» пошли чудесные, чистые сердцем лесковские богатыри, чья сила иной раз расходуется впустую, но может, коли надо, и горы передвинуть,

землю и небо поменять местами, величайшие дела совершить для человечьей пользы, недаром же Северьянычу «за народ очень помереть хочется».

Все большие русские писатели горячо любили народ, кровавыми слезами обливались над его муками. Но они видели в народе прежде всего страдательное начало. И это неудивительно — такова была российская действительность. Герои русской литературы, взятые из народа, всегда несчастливы, загнаны, обречены, порой они так и светятся добротой и благородством, но до чего же жалка, беспомощна, бессильна их доброта! Прекрасен и мудр толстовский Платон Каратаев, да ведь мудрость его лишь в смирении, покорности, в особом таланте безропотно и легко подчиняться неумолимому ходу жизни. И у писателей более поздних, нежели Лесков, у зрелого Чехова, Куприна, Бунина простые русские люди, особенно деревенские, изображались только в мученическом венце. Наблюдая российский человеческий пейзаж, Чехов «оптимистично» полагал, что русским людям звезды засветят лет через двести. А чего он мог ждать от своих чиновников, дряблых интеллигентов, сонных мещан и темных мужиков? Единственный огневой человек простого звания у Чехова — это вор и поджигатель Мерик. На какие поступки способны обитатели Растеряевой улицы, так горько и беспощадно нарисованные Глебом Успенским? Новые герои, люди сильные, красивые, страстные, жертвенные, бунтари и борцы, появятся лишь у Горького. Но и сам Горький с великим литературным беспристрастием считал, что не он первый высмотрел таких людей в российских сумерках, а Николай Семенович Лесков. Отсюда и преданная любовь Горького к Лескову, отсюда их прочная, хотя и трудно уловимая рассеянным взглядом, связь. Оба крепко верили в измученный, замордованный, испытанный холодом и голодом, произволом помещиков и чиновников, всех властей предержащих, великий и бессмертный русский народ, в его прочный, охватистый ум, приимчивую, выносливую душу, моральную силу и готовность к подвигу. Такие великаны духа, как протоиерей Туберозов из Аввакумовой породы мучеников, как очарованный Северьяныч, готовый в любой миг скинуть рясу и амуничку надеть, как праведный Голован, или угрюмый мужик Пугало с детски чистым сердцем, как гениальный Левша, чудак-искусник и русский патриот, как артельный глава Лука Кириллов, рискнувший жизнью ради веры, — способны на бесподобные и невиданные дела в свой звездный час. И когда смотришь на этих людей, любуешься их удалью и силой, верностью нравственному долгу, чистотой и несокрушимостью, понимаешь, почему забитая,

нищая, отсталая Россия, как и было предсказано в знаменитой прокламации, первой осуществила великое дело социализма.

Не следует думать, будто обновленному Лескову под ноги стелились только мягкие душистые травы или толстые персидские ковры. Да нет, так в жизни не бывает. Путь его продолжал оставаться жёсток и ухабист. Критики выискивали у него дурные намерения, скрытые подвохи. Показателен пример «Запечатленного ангела», одной из вершин лесковского творчества и сказовой литературы всего мира. Это история о том, как корыстные чиновники «запечатлели» — припечатали казенной сургучной печатью — и конфисковали у раскольничьей артели, строящей мост через Днепр, старинную икону с изображением ангела в древнем Строгановском пошибе и как глава артели Пука Кириллов перешел по цепям недостроенный мост, чтобы ту икону вернуть и «распечатлеть». Рассказ о чуде, вернее, о чудесах, но с тонкой лесковской иронией, ускользнувшей от современников. Чудо, явленное раскольничьим богом, перекрывается в финале рассказа чудом Бога православного, из-за чего все раскольники отказываются от старой веры. Это осудил даже Достоевский, которому рассказ в целом очень понравился, остальные же критики били, по обыкновению, сплеча. И не заметили, что никакого второго чуда не произошло — просто ловкий человеческий обман. Таким образом, раскольников привело к новой вере мошенничество. Злым ядом окропил Лесков мнимо умилительную развязку своего сказа, а его бранили за выслуживание перед официальной церковью!

В этом произведении Лесков предстает глубоким знатоком иконописи, каким и был в действительности. Увлечение иконописью началось у Лескова еще в Киеве и прошло через всю жизнь. В Петербурге его наставником был художный муж, изрядный живописец, реставратор и знаток «черных досок» Никита Севастьянович Рачейсков, или Рачейский; под его приглядом Лесков и сам собрал порядочную коллекцию икон, хотя широко распространенное мнение о высокой ценности его собрания сильно преувеличено.

Русская религиозная живопись — явление уникальное. Как могло появиться во мраке удельной Руси такое тонкое чудо, где-то предвосхитившее, а где-то и обошедшее европейский Ренессанс, — остается непостижимым. В иконах северного письма читаются ракурсы Эль Греко, их зелено-фиолетовые тона заставляют вспомнить Тинторетто, а изящество, изысканность крылатых гениев Рублева лишь через век с лишним явятся вновь в женских образах гениального Рафаэля. Лесков был первым из

больших русских писателей, кто понял несравненную художественную ценность старинной русской иконописи.

Безмерно трудно средствами одного искусства передать красоту и силу другого искусства, но Лескову в «Запечатленном ангеле» удалось так описать иконы, что ты их видишь, пьешь глазами дивную красоту мелкого (то есть подробного) письма «Строганова дела». Громадная изобразительная сила Лескова в полной мере сказалась в «Запечатленном ангеле», здесь же заиграла всеми переливами драгоценная россыпь лесковской речи.

Прием сказа, ведущий в новеллистике Лескова, применен здесь во всем блеске. Повествование поручено каменщику-староверу Марку, смекалистому, сердцем умильному, но несколько робковатому и боязливому. Этот живой, чувствительный, приметливый и неглупый человек, которому, при всей его искренней религиозности, ничто человеческое не чуждо, как нельзя лучше подходит для изложения невероятной, на грани фантастики — хотя разрешается все весьма реалистически, — многомысленной и прехитрой истории. Его речь красочна, временами причудлива, но всегда точна, в смиренном, чуть елейном строе ее сквозит легкая ирония, отчего интонация углубляется. Трудно представить себе, чтобы эту историю рассказал кто-нибудь другой, а не Марк с его пристрастием к профессиональным, старинным и редким, звучным оборотам речи: «летоpосль», «невеглас», «отрясовица», «взаимоверца», с его «опасливым островидением».

Обычно, когда автор уступает свое место другому, придуманному рассказчику, возникает известная монотонность. Ведь этот условный рассказчик должен пребывать в своем образе, а не подменять писателя. У Лескова такого не случается. Прежде всего потому, что он доверяет рассказ лишь одаренным натурам, благо что ими так богат русский народ в любом роде-племени, чине-звании. Марк такой, как он есть, может быть и размашистым, эпическим — спасение запечатленного ангела; и подробным, «мелким», как строгановская школа, — сцены с юным Левонтием или старцем Памвой — дивный образ, в котором умиление и ирония образуют небывалый, чисто лесковский сплав; и реалистичным в духе «натурального направления» — сцены с англичанами.

К сожалению, критики не поняли и почти не заметили «Очарованного странника». Те же, кто отозвался на эту вещь, за фабульной занимательностью проглядели главное: эпический образ Ивана Северьяновича Флягина, что долгие годы, подщетиненный, просидел сиднем в Рынь-песках, как былинный

Илья Муромец на печи, прежде чем принялся богатырствовать. Но сходства никто не заметил, и образ оказался слишком нов, непривычен в державе критического реализма, и многомудрые литературные доки слепо прошли мимо великого. Но читатели, а их у Лескова с каждым годом становилось все больше и больше, с восторгом встретили «Очарованного странника».

Читатели и вообще признали Лескова гораздо раньше, нежели коллеги по литературному труду. Его уже читали и во дворцах и в хижинах, в молодой и старой столице, в губернских городах и уездной глуши, читали по всей России и за границей, а критики еще прикидывали, каким тоном позволительно говорить о грешном Лескове. Не случайно в лучшей и единственно серьезной прижизненной статье о творчестве Лескова автор назвал его «больным талантом», а он и тому был рад. Но стареющий Лесков мог с полным правом сказать, что с читателями его уже не поссорить.

Рядом с «Очарованным странником» по зрелому, уверенному мастерству стоит «Левша» — сказ о том, как тульские мастера англицкую блоху подковали.

Тут что ни строка — фейерверк, что ни образ — открытие. Гениальный Левша с выдранными волосьями, в тощей груди которого бьется чистое и верное сердце русского патриота, «мужественный старик» атаман Платов, растерявший на дворцовом паркете гордость бесстрашного воина, царь Николай — самовлюбленная дубина — и главные, и второстепенные персонажи поражают искусством словесной лепки. А каким дивным языком поведана эта история, сколько тут замечательных словечек, изобретенных неисчерпаемой фантазией автора! Как освежен, взбодрен русский язык, недаром же многое из «Левши» перешло в живую разговорную речь. Насколько были бы мы беднее без «клеветона», «нимфозории», «буреметра», «потной спирали», «долбицы умножения», «мелкоскопа», «тугамента», «Аболона Полведерского», «графа Кисельвроде» и «морской свинки», приключившейся с Левшой от корабельной качки!

Сам Лесков особенно ценил концовку сказа, где умирающий Левша — его пьяненького «на парат уронили» — просит сообщить государю, чтоб ружья не чистили толченым кирпичом, а чистили бы по англицкому способу, подсмотренному им в Лондоне. Но военный министр, граф Чернышев, скрыл завещание умирающего, и от этого в Крымской войне большой конфуз вышел.

В своем с поверхности развеселом сказе Лесков беспощадно издевается над тупостью, жестокостью, непросвещенностью николаевского режима и с огромной любовью изображает простого человека, самородка Левшу.

И до конца своих дней останется Лесков певцом народной русской красоты и непримиримым врагом всех, кто эту красоту унижает, будь то недостойные пастыри, мздоимцы-чиновники, мещане, охранители беззакония.

Конечно, Лесков не примкнул к революционным демократам, но фронт врагов его переменился. Теперь на него кидались сподвижники Победоносцева, церковные мракобесы, реакционеры всех рангов, это мешало жить, но душу не ранило.

Пусть не сетует читатель, что я оборвал рассказ о земном пути Лескова на половине. Но событийная ткань его жизни после возвращения из-за границы представляет интерес лишь для специалистов-литературоведов. Ибо ничто уже в его внешнем существовании не играло сколько-нибудь важной роли в формировании личности, как некогда Орловщина, или киевская пора, служба у Шкотта, или начальный Петербург со страшным фиаско, или первая поездка за границу. Он будет еще наезжать в Киев и в Москву, проводить лето в Оренбурге и в Мерекюле, на Балтийском море и петербургских дачах, совершит новые поездки за границу, будет служить по министерству народного просвещения и с громким, им же самим вызванным скандалом расстанется со службой, будет встречаться со множеством людей, до конца дней предпочитая конфликтный характер отношений, будет рвать последние связи с родными, расходиться с женой, сдавать сына в солдаты, удочерять богоданную сиротку, драться с остзейскими немцами в порыве национальной гордости, но все это, найдя то или иное отражение в литературе, нейтрально к внутренней работе, которая вывела его из душевного и литературного кризиса и определила дальнейшую жизнь духа.

Было лишь одно великое событие в жизни Лескова поздней поры — знакомство с Львом Толстым, личностью и учением которого он увлекся со свойственной ему необузданностью. Лесков ездил в Ясную Поляну, переписывался с Толстым, участвовал в его народных изданиях. В оздоровлении его мятущегося духа нравственная проповедь Толстого сыграла значительную роль. Лесков так и не научился себя обуздывать, но стал думать о необходимости обуздания, стал шире и беспристрастнее относиться к окружающим и строже к себе самому, даже чуть было не заделался вегетарианцем. Но и в отношениях с Толстым Лесков остался Лесковым, органически не способным плыть по течению, подчиняться избранной догме.

Так, до конца, в великом борении пребывал его неукротимый дух. Лишь перед лицом смерти осадил он себя, словно бешеного скакуна, и в просветленном смирении завещал: «На похоронах моих прошу никаких речей не говорить. Я знаю, что во мне было

очень много дурного и что никаких похвал и сожалений не заслуживаю. Кто захочет порицать меня, тот должен знать, что я и сам себя порицал». Лесков скончался 21 февраля 1895 года, в Петербурге. Воля покойного была выполнена…

Лесков стал знаменит еще при жизни. И все-таки лишь золотое слово А. М. Горького отвело Лескову подобающее место на Олимпе русской литературы. «Как художник слова Н. С. Лесков вполне достоин встать рядом с такими творцами литературы русской, каковы Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров…»

Лесков бесконечно расширил возможности рассказового жанра. Мы найдем у него и объективную манеру изложения, ведущую в русской новеллистике, когда автор-рассказчик как бы самоустранен, что характерно для Тургенева, Чехова, Эртеля, Куприна. Но особенно успешно применял он сказ, где решающее значение приобретает личность человека-рассказчика. Иногда им может быть и сам автор, сбрасывающий личину беспристрастия и предстающий в своей подвижной, заинтересованной, сомневающейся и сопереживающей, словом, живой человечьей сути. Но чаще эта роль отводится какому-либо иному лицу: или главному герою, или второстепенному участнику событий, лишь бы человек был оригинальный. Выбор сказителя очень важен, он дает окраску всему содержанию, и тут Лесков никогда не ошибался. История Очарованного странника очень много проиграла бы, поведай нам ее не сам Северьяныч в своей неторопливой, простодушной и рассудительной манере, чудесно оттеняющей невероятность происходящего. И конечно, никто, кроме самой воительницы Домны Платоновны, не смог бы так образно и смачно поведать о смешных и горьких злоключениях петербургской сводницы.

Лесков поднял на высоту серьезной литературы «святочный» рассказ, ютившийся до него на задворках прозы. Считалось, что единственная цель святочного рассказа — сперва испугать, а потом обрадовать благополучной концовкой малого и большого простодушного читателя в канун веселого и таинственного праздника Рождества. Лесков подчинил святочный рассказ серьезным нравственным целям, ничуть не лишив его занимательности. Достаточно сказать, что «Пугало», с дивным описанием мелкопоместного быта и величественной фигурой хозяина постоялого двора, взявшего за себя дочь палача, — святочный рассказ, как и другой шедевр Лескова — «Зверь».

Лесков насытил мощным драматизмом очерковый рассказ («Леди Макбет Мценского уезда»), возвысил рассказ-анекдот («Голос природы»), рассказ-фельетон («Совместители», «Дама и фефела») и рассказ-притчу («Скоморох Памфалон», «Прекрасная

Аза»). Юмористический рассказ в русской литературе до Чехова считался вторым, даже третьим сортом, полагаю, что страшноватую юмористику Достоевского не стоит рассматривать в этом ряду, — но Лесков написал «Железную волю», очень смешной рассказ о неком бодром чужеземце, приехавшем завоевать Русь, да подавившемся блином, — и ввел Золушку во дворец.

Он вдохнул новую жизнь в роман-хронику, показав, каким увлекательным, драматичным, игристым может быть этот вроде бы по самой природе вялый жанр: «Соборяне», «Захудалый род», «Старые годы в селе Плодомасове»…

Но конечно, главная заслуга Лескова в том, что на Растеряеву улицу российской словесности он привел таких героев, как Туберозов, Ахилла, Флягин, Голован, Левша, как Тупейный художник или Доримедонт Рогожин — русский Дон-Кихот, — праведников и богатырей. Не видны были до Лескова эти русские самоцветы, а без них, как говаривал писатель лесковского подобия Андрей Платонов, «народ не полон…».

notes

Примечания

1

Ныне несправедливость в отношении Лескова устранена: в Орле ему воздвигнут великолепный мемориал.

2

До 1917 г. ярмарки проводились в уездном городе Макарьеве, который славился также собором Св. Макария. Вот почему мы читаем у Лескова в одном из его очерков: «Ехали мы к Макарию на ярмарку». Впоследствии ежегодные ярмарки были перенесены из Макарьева в Нижний Новгород.

3

Гроссман Л. Н. С. Лесков. Жизнь. — Творчество. — Поэтика. — М., Гослитиздат, 1945, с. 50–51.

См. там же.

5

Гостомля — узкая речка в южной части Орловщины, откуда пошел род Лесковых.

6

Гроссман Л. Н. С. Лесков. Жизнь. — Творчество. — Поэтика, с. 22.